



## **Б. Н. ЧИЧЕРИН**

### **Москва сороковых годов <Фрагмент>**

Наконец, вышел и первый номер «Русской Беседы»<sup>1</sup>. Вслед за тем возгорелась полемика. Оба лагеря стояли теперь друг против друга, во всеоружии, каждый с своим органом. Опишу главных деятелей, как я их знал и понимал. Постараюсь по возможности отрешиться от чисто личных отношений, давно похороненных на кладбище прошлого, хотя, разумеется, могу передать только свои личные впечатления. В этом, в сущности, заключается вся цель и все значение воспоминаний. Пускай другие изобразят тех же людей с той стороны, с какой они их знали.

Во главе «Русского Вестника» стояли Катков, Леонтьев и Корш<sup>2</sup>. Из них первенствующую роль играл Катков. Как сказано выше, я был его слушателем, но лично почти не был с ним знаком и тут в первый раз узнал его поближе. Он с самого начала произвел на меня неблагоприятное впечатление. Его маленькие, тусклые и блуждающие глаза, обличавшие что-то затаенное и недоброе, глухой его голос, его то смутная, то порывистая речь, то растерянные, то слишком решительные приемы, отсутствие той искренности и общительности, которые привлекают и связывают людей, все это несколько меня отталкивало. Я чуял в нем недостаток истинно человеческих чувств и спорил о нем даже с близкими людьми, которые подкупались его умом и талантом. Последствия показали, что мое чутье было верно.

Катков, бесспорно, был человек чрезвычайно умный и даровитый. Он обладал широким литературным образованием

и умел выражаться ловко, изящно, иногда даже красноречиво. К сожалению, он в молодости подготовлялся специально к тому, что вовсе не было его призванием. Кончив курс на словесном факультете, он еще очень молодым человеком примкнул к кружку Станкевича и Белинского, в котором господствовали отвлеченные философско-литературные интересы. И он вступил в него именно в ту пору, когда главное лицо этого кружка, Станкевич, которого глубокая и изящная натура давала возвышенное направление всем окружающим, уехал за границу. Его влияние заменилось сухой диалектикою Бакунина<sup>3</sup>, который остался главным толкователем немецкой философии в Москве. Он сбивал с толку Белинского; под его влиянием и Катков начал свои философские занятия. Затем он отправился в Берлин, где слушал лекции Шеллинга. Он сделался приверженцем его мистической мнимо-положительной философии, с которою соединял и поклонение реалистической психологии Бенеке<sup>4</sup>. Уже это одно сочетание показывает, что философского смысла было мало. Непонятные лекции, читанные им в Московском университете, еще более обнаружили царствующий в голове туман, который переходил и на литературные взгляды. Об этом свидетельствует смутившая меня статья о Пушкине. Очевидно, Катков не в состоянии был давать философское и литературное направление журналу. Впоследствии выяснилось, что истинное его призвание была публицистика; но именно к этому он вовсе не был подготовлен. Историческое его образование было весьма скудное, юридическое отсутствовало совершенно, а политическое ограничивалось верхушками, хватаемыми из газет. Погрузившись в журнальную деятельность, он, конечно, не мог восполнить этого недостатка. При всем его уме, таланте и живом чутье общественных течений, всегда ощущалось отсутствие прочного основания. У него не было ни зрело обдуманых взглядов, ни выработанных жизнью убеждений. В течение всей своей публицистической деятельности он не высказал ни одной серьезной политической мысли. Постоянно ратуя во имя тех или других принципов, он никогда не касался применения, а если что предлагал, то всегда невпопад. Самые принципы менялись у него по воле ветра. Он отдавался одностороннему потоку с тем холодным увлечением, которое было свойственно ему, так же как и учителю его Бакунину; но лишенный твердой

основы, он легко переходил от одной крайности в другую, сегодня покрывая позором то, что он возвеличивал вчера. Такие повороты ничего ему не стоили. Это не было страстное искание истины, как у Белинского, который, будучи также лишен основательной подготовки, путем внутренней борьбы и мучений переходил от одного взгляда к другому, по мере того, как перед ними открывались новые горизонты. У Каткова повороты вызывались чисто практическими потребностями, к которым примешивались и личные расчеты. Они всегда клонились к его выгоде. И раз он эту выгоду узрел, он шел к ней неуклонно, не взирая ни на что и не допуская никаких возражений. А так как при этом самолюбие было громадное, а уважения к чужому мнению не было ни малейшего, то все должно было подчиняться временно составившемуся у него убеждению. Мысль редакции должна была служить законом для сотрудников. Естественно, что при таком направлении, журнал не мог сделаться центром и органом для людей, обладающих самостоятельной мыслью. Тут требовались клеветы, а не сотрудники. Сначала все, что было мыслящего в Москве и что не принадлежало к славянофильскому направлению, собралось около редакции «Русского Вестника». Пока издание не упрочилось, в виду собственных выгод редакция воздерживалась. Но не прошло двух лет, как один за другим все сколько-нибудь самостоятельные люди были вытеснены, и «Русский Вестник» остался личным органом Каткова. Ниже я расскажу эту печальную повесть.

Однако, у редактора было слишком мало собственного серьезного содержания, чтобы дать жизнь и направление периодическому изданию, которое должно было служить проводником всех разнообразных человеческих интересов, составлявших потребность современности. Истинное его поприще была ежедневная газета. Как скоро он получил «Московские Ведомости», «Русский Вестник» перешел в руки второстепенных агентов и потерял всякое общественное значение. Сам же Катков всецело отдался газете, в которой вполне проявились как его блестящие, так и его непривлекательные стороны. Тут он мог с чутьем истинного журналиста следить за каждым дуновением ветра, как снизу, так и сверху, играть страстями, возбуждать всякие темные инстинкты, прикрывая их возвышенными целями, вести самую задорную ежедневную полемику, в которой

он был первый мастер. Чтобы выказался его талант, ему нужна была борьба, и он отдавался ей весь, забывая все остальное, кидаясь сам в противоположную крайность и стараясь всячески забросать грязью противника. Никто не умел так ругаться, как он. Он делал это с тем большим успехом, что не стеснялся ничем. В нем было полное отсутствие всякой добросовестности, всякого нравственного чувства, даже всяких приличий. Уважающие себя люди перед этим отступали. Не было возможности вести полемику с Катковым, не замаравшись. Но на массу русской публики, не привыкшей к приличию и не вникающей в смысл печатного слова, это действовало тем более неотразимо, что самая площадная брань выступала во имя высоких чувств и потакала общественным страстям. Это проявилось особенно резко во второй период его журнальной деятельности, когда он от крайней англomanии, которою он одержим был в первые годы издания «Русского Вестника», внезапно повернул к исключительному патриотизму. С верным практическим чутьем, Катков в критическую минуту ухватился за патриотическое знамя и с свойственным ему талантом поднял его так высоко, что даже порядочные люди могли ему сочувствовать. Но это было одно мгновение. Лишенный всякой нравственной основы, скоро он это знамя окунул в пошлость и грязь. Святое чувство любви к отечеству было низведено им на степень чисто животного инстинкта, в котором исчезало всякое понятие о правде и добре, и оставался один народный эгоизм, презирающий все, кроме себя. Это было явление новое в тогдашней литературе. Исключительный патриотизм славянофилов основывался на том, что они в русском народе видели носителя высших христианских начал, провозвестника новых, неведомых миру истин. Патриотизм настоящих западников состоял в усвоении для отечества высших плодов европейского просвещения. Катков разом откинул всякие человеческие начала и выступил защитником народности в самой низменной ее форме, с точки зрения чисто реальных интересов, понятых в совершенно материальном смысле. Все должно было безусловно преклоняться перед грубою силою русского государства, налагающего однообразную печать на все подчиненные ему жизненные сферы. Всякое самостоятельное проявление жизни считалось изменою; всякий возражатель объявлялся врагом отечества. Это была именно та форма па-

триотизма, которая ближе всего подходила к самым пошлым воззрениям масс. И толпа благоговейно внимала этому новому журнальному богатырю, ополчившемуся пером на защиту Русской земли. Вяземский метко характеризовал это настроение значительной части тогдашнего русского общества:

Все это вздор, но вот в чем горе:  
Бобчинских и Добчинских род,  
С тупою верою во взоре,  
Стоят пред ним, разинув рот,  
Развесья уши, и внимают  
Его хвастливой болтовне,  
И в нем России величают  
Спасителя внутри и вне.  
О Гоголь, Гоголь, где ты? Снова  
Примись за мастерскую кисть  
И, обновляя Хлестакова,  
Скажи: да будет смех, и бысть!  
Смотри, что за балясы точит,  
Как разыгрался в нем задор;  
Теперь он не уезд морочит,  
А Всероссийский ревизор!<sup>5</sup>

Катков был, однако, слишком умен, чтобы довольствоваться поклонением толпы; оно было ему нужно только как орудие. В сущности, он презирал русское общество и сам говорил, что для него не стоило бы даже писать. На общественные собрания он никогда влияния не имел. Он пробовал действовать в Московской городской думе, но весьма неудачно. Я присутствовал в числе публики на заседании, в котором он делал разные предложения и при голосовании вставал за них один-одинехонек. Вследствие этого он тотчас вышел из гласных и с тех пор возненавидел выборные собрания, обзывая их пустыми говорильнями. В одной газетной болтовне он видел спасение, ибо это было его ремесло. Журналист, возбуждающий общественные страсти и с помощью их действующий на правительство, таков был его идеал. Скоро, однако, он убедился, что этого недостаточно. Он слишком возмечтал о своей силе и пересолил. Дерзость его дошла до того, что даже колеблющийся Валуев принужден был

принять решительные меры: журнал был приостановлен. Тогда он обратился к другим средствам. Он написал государю письмо, вследствие которого выход «Московских Ведомостей» был снова разрешен до истечения срока. Е. Ф. Тютчева<sup>6</sup>, которой императрица давала прочесть это письмо, говорила, что она никогда в жизни не читала ничего более подлого. Катков начинал с того, что он родился в один год с государем и считал себя призванным прославлять его царствование. С своею проницательностью и полною неразборчивостью в средствах, он понял, что в самодержавном правлении грубая лесть составляет самое надежное орудие действия и с тех пор выступил рьяным защитником власти. Последовавшие затем покушения нигилистов могли только усилить его значение. Правительство видело в нем опору. И эта лесть продолжалась до той минуты, когда государь, которого он рожден был прославлять, пал жертвою убийц. Тогда он принялся кидать в него грязью, позорить все славные дела его царствования. Началась лесть другого рода; проповедовалось возрождение павшего правительства: «Господа, вставайте! Правительство идет, правительство возвращается!» И это бесстыдное каждение, в свою очередь, возымело свое действие. Катков из-за журнального стола сделался чуть ли не властителем России. Министры перед ним трепетали; второстепенных чиновников он трактовал, как лакеев. Несчастный Делянов<sup>7</sup>, всегда трусливый и раболепный, делал все, что требовал его журнальный патрон. Граф Толстой<sup>8</sup>, который терпеть не мог Каткова за то, что тот опрокинулся на своего прежнего союзника после его падений во времена Лорис-Меликова<sup>9</sup>, считал все-таки нужным его поддерживать и с ним считаться. В угоду Каткову, без малейшего повода и без малейшего смысла, все русские университеты были поставлены вверх дном. И на этот раз, однако, он зазнался и пересолил. Он вздумал быть такою же силою в иностранных делах, какою был в делах внутренних. С переменою царствования он и тут произвел внезапный поворот фронта, стараясь подладиться к новому направлению: из защитника союза с Германиею он вдруг сделался поборником союза с Франциею. Но, не довольствуясь журнальною пропагандою, он захотел влиять на самый ход дел и дошел до того, что от себя посылал в Париж известного негодяя, генерала Е. В. Богдановича<sup>10</sup>, чтобы вести переговоры с французским правительством. Рядом с этим он пытался обде-

лать и свои денежные делишки: выхлопотать новые, значительные субсидии для основанного им и Леонтьевым на казенные деньги лица, состоявшего в полном его распоряжении. Все это всплыло наружу и повредило ему при дворе. Перед смертью ему оказана была немилость, которая, говорят, ускорила его конец.

Немного людей в России, которые сделали столько зла отечеству. Он низвел русскую литературу с той идеальной высоты, на которой она стояла в начале царствования Александра II, и потопил ее в болотную грязь. Выступив на журнальное поприще в то время, когда спали узы, стеснявшие русскую мысль, и когда именно журналистика получила преобладающее значение, он с своим умом и талантом занял в ней первое место. Но вместо того, чтобы высоко держать благородное знамя, завещанное предшественниками, он отбросил всякие нравственные требования и даже всякие литературные приличия. Он русских писателей и русскую публику приучил к бесстыдной лжи, к площадной брани, к презрению всего человечества. Он явил развращающий пример журналиста, который, злоупотребляя своим образованием и талантом, посредством наглости и лести достигает невиданного успеха. И этот успех он обратил в орудие личных своих целей. Он поддерживал то, что доставляло ему выгоду, даже то, что ему хорошо оплачивалось. Железнодорожные деятели приносили ему крупные суммы. Мне подлинно известно, что учредители Моршанско-Сызранской линии дали ему из рук в руки 5000 рублей. По достоверным сведениям, он пользовался и приношениями евреев. После его смерти, его наивная жена потребовала из Московского Поземельного банка на десять тысяч купонов, с лежавших там бумаг ее мужа, и не хотела верить, когда ей объявили, что никаких бумаг там не обретается: эти десять тысяч были ежегодным приношением Лазаря Соломоновича Полякова<sup>11</sup>. Все расчеты университета по аренде «Московских Ведомостей», благодаря жалкому министерству, обращались к обогащению редакции. Но Катков не довольствовался приобретением крупного состояния; ему нужны были власть и влияние. Пока он думал, что можно получить их, опираясь на общественное мнение, он был рьяным либералом; но как скоро он понял, что гораздо выгоднее опираться на правительство, он сделался главным проводником и глашатаем той тупой реакции, которая тяжелым бременем легла на Россию.

Прежде всего, его деятельность проявилась в близкой ему сфере народного образования. Бывший профессор и защитник университетов, он, потерявши в них почву, предпринял против них поход, которого бесстыдство тем более поразительно, что ему хорошо были известны истинные отношения. Он сознательно и намеренно представлял все в совершенно превратном виде. Благодаря Каткову, в университетах водворился хаос, погубивший многие поколения. Об этом я ниже расскажу подробно. Такими же личными целями направлялся и его поход в пользу классического образования. Сам он был классический филолог, а друг его Леонтьев<sup>12</sup> был профессор древних языков. Оба они задумали на заимствованные у казны средства основать классический лицей, который должен был служить центром, образцом всего среднего и даже высшего образования в России. В этих видах и печатно, и за кулисами они стали проводить крайнюю классическую программу, для которой и общество не было приготовлено, и правительство не имело надлежащих орудий. Но об этом никто не заботился. Начертать программу в кабинете, конечно, гораздо легче, нежели приготовить хороших учителей. Вместо того, чтобы, соображаясь с практикою, улучшить умеренно классический устав 1863 г., хотели произвести огромный эффект и разом перевернуть всю систему. Для достижения этой цели пускались в ход всякие средства. Невинных членов Государственного совета, не имевших понятия о классических языках, Катков успел убедить, что ничто так не способствует развитию консервативных идей, как зубрение латинской и греческой грамматики. На русские школы разом была наложена формальная схема, которая не могла иметь иных последствий, как возбуждение в русском обществе ненависти к классическим языкам. Истинные друзья классицизма не могли об этом не скорбеть. И когда в настоящее время, под напором вопиющей действительности, приходится, наконец, разделявать ту сеть бездушного классического формализма, которою Катков опутал и учреждения и умы, эта задача возлагается на тех же ничтожных клеветов, которыми он наполнил министерство. При таких условиях, о серьезном улучшении не может быть речи. Долго еще русское просвещение не в состоянии будет залечить те раны, которые нанес ему этот человек.

С таким же бесстыдством выступил он в поход против выборного начала и против независимого суда, изыскивая и раздувая все, что могло набросить тень на юные, неокрепшие еще учреждения, столь недавно горячо им приветствованные, стараясь всячески подорвать к ним доверие как правительства, так и общества. Всякая независимость сделалась ему ненавистна. Забыв все, что мы пережили в царствование Николая, он спасение видел только в необузданном самовластии сверху и в раболепном подчинении снизу. И русские Бобчинские и Добчинские, которые преклонялись перед его патриотизмом, последовали за ним и в его реакционных стремлениях. Катков воспитал целое поколение молодых подлецов. Самое московское дворянство, которое после освобождения крестьян вдруг возымело конституционные поползновения, позднее, к вечному стыду своему, призывало этого наглого хулителя всего, что составляет достоинство человека, и поручало ему составлять от его имени раболепные адреса. Трудно сказать, в какой сфере развращающая его деятельность оказалась сильнее, в правительственной или в общественной. И когда, наконец, главный проповедник начал, составлявших давнишнюю язву русского общества, сошел в могилу, дух его остался и продолжает свою тлетворную работу. Нам, современникам, испытавшим на себе все зло, принесенное этою бессмысленною и неразборчивою на средства реакциею, приветствовавшим зарю нового порядка вещей, основанного на законе и свободе, и видящим возрождение старого, трудно говорить об этом беспристрастно. Конечно, главные виновники зла бездушные нигилисты, которые сбили Россию с правильного и законного пути; но анархическому безумию люди, дорожащие свободою и просвещением, могут противопоставить только власть, опирающуюся на гражданские элементы, а не чистый и голый произвол. Думаю, что история произнесет над Катковым строгий приговор. Ему дан был от бога талант, и на что он его употребил?

Разве на то, чтобы доказать русскому обществу, что такое свобода печати в мало образованной среде и при отсутствии представительных учреждений. Россия в этом отношении представила единственный в мире опыт значительного развития журналистики при самодержавном правлении. Если в начале царствования Александра II могли существовать некото-

рые иллюзии насчет благодетельных последствий подобного порядка вещей, если после долгого умственного гнета свобода общественного мнения представлялась даже лучшим умам возделенною целью всех помышлений, то деятельность Каткова могла убедить их, что при отсутствии правильных органов общественной мысли и народных потребностей, журналистика обращается в орудие извращения общественного сознания. Под именем общественного мнения выдвигаются личные измышления бойкого писателя, откинувшего всякий стыд и совесть, опирающегося на свое общественное влияние, чтобы сделаться нужным правительству, и опирающегося на правительство, чтобы подавить всякую самостоятельность общества. Если так-ков был результат многолетней и настойчивой деятельности умного, образованного и даровитого человека, то что же сказать об остальных?

Достоинным сподвижником Каткова был Леонтьев. Маленький, горбатый, с умною и хитрою физиономиею, он на всем своем нравственном существе носил отпечаток своего физического уродства. Это был основательный ученый, умный и образованный, без большого таланта, но трудолюбия непомерного, и вместе человек весьма практический, вникающий в подробности всякого дела, упорно преследующий свою цель и изыскивающий к ней всевозможные средства, но без всяких нравственных правил, злой, ехидный, лживый, интриган первой руки. Катков, который также вовсе не чуждался интриги и знал, к кому забежать, обыкновенно заручившись поддержкой, шел к своей цели напролом; Леонтьев же всегда действовал окольными путями. Один восполнял другого, обеспечивая достижение успеха. При всем том я всегда предпочитал Леонтьева Каткову и часто спорил о том, который из них хуже. В характере Леонтьева были искупающие стороны. С самого начала меня тронула глубоко прочувствованная статья о Грановском, напечатанная в «Прописях»<sup>13</sup>. Она являлась как бы выражением искреннего раскаяния. В последний год перед смертью Грановский был выбран деканом историко-филологического факультета, и в это время ему тяжело приходилось от каверз и происков Леонтьева, несмотря на то, что последний был его союзником. Грановский всякий раз возвращался взволнованный и рассерженный из заседаний факультета или совета; он называл Леонтьева не иначе

как «злой паук». Казалось, память о всех причиненных умершему товарищу неприятностях глубоко запала в эту темную душу и вылилась в упомянутой статье. У этого ехидного горбуна были и нежные чувства. Он любил детей, и я иногда любовался, как он играл с детьми Корша. У него была также сильная педагогическая струнка. Он всю свою душу положил на основанный им лицей, внимательно и отечески следил за каждым учеником. Нередко, когда кто из них занемогал, он по ночам приходил спать возле больного. Такие же нежные чувства он питал к Каткову, перед которым он преклонялся, как перед высшим гением еще гораздо прежде издания «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей». Когда в «Прописях» появилась статья Каткова о древнейшем периоде греческой философии, Грановский с удивлением спрашивал меня: нахожу ли я в ней нечто необыкновенное? «Леонтьев уверяет, — говорил он, — что это гениальное произведение, открывающее новую эпоху в истории философии, а я решительно ничего не вижу, может быть, потому что мало знаю этот предмет». Конечно, и я, признавая некоторые достоинства статьи, не видел в ней ничего гениального. Это поклонение продолжалось до конца жизни. Леонтьев весь отдавался Каткову: он даже выходил за него на дуэль с С. Н. Гончаровым<sup>14</sup>. Главный редактор «Московских Ведомостей» мог справедливо сказать, что неизвестно, где кончается один и где начинается другой. Только такого рода преданность Катков мог терпеть около себя. Она бросает особенный свет на сложный характер Леонтьева, в котором добро и зло перемешивались в какой-то причудливой форме. <...>